

ГЛАВА 1

Представьте — три трещины, ромбовидные, на сероющей извести подоконника. Отколупываю тонкую трапецию краски, крошу пальцами. Из радиолы «Ригонда моно» с бумажными динамиками играет “Map of Mystery” The Shadows. Жду сквозь сырые рифы долгожданную меланхолическую тему, под которую можно изучать и дальше серую распутицу облаков над Лефортово.

Лефортово — мое, тюремное, небо не в клеточку, родимое, прудики илистые невдалеке, рыночек квашено-капустный да радиокассетный, столовка дорогая, где мы с Серегой обожрались часа два назад макаронами с подливкой.

Shadows эти, со стриженным под горшок характерным очкариком Хэнком Марвином на лид-гитаре, даже не считались запрещенкой, под них вроде в очередной панфиловской мелодрамке танцевала панфиловская Чурикова с мордастым Куравлевым.

Кюрю «Приму» в форточку — на большее денег нет. Одолжи хоть рубль, нимбоокий мой Сашка, ты ботанишь с сентябрьских дней первака, ты микроинфаркт словил на первой сессии. Одолжи! А, жалко, сволочь... Ну ладно... От тумана общажного курева идем далее.

Сильно я забежал вперед, конечно. А впрочем, нужно было винить бессонную лупоглазую ночь, когда

мы с Серегой прокуковали до одиннадцати на «Речном», в видеосалоне у Алика, где, ежась в клетчатых креслах, просмотрели всю «Долларовую трилогию». «Пригоршню», сжеживая пену с фигуристой бутылки «Жигуля», я заставил Алика промотать до трубы Морриконе, где Иствуду стреляли в печную заслонку сердца. Зато «Хорошего, плохого, злого» смотрели, почти не прикладываясь к горлышкам, слушали гнусавого переводчика как иезуитского падре: я встал на колени во время тройной дуэли, Серега мученически кусал губы и икал.

Потом же была смурная вахтерша, ядреной матерью культурно нас обматерившая. И разрывающий виски будильник за стеной, где дрых Стас, военный заочник, лысый, лет под тридцать пять, по вечерам читает Канта и наполняет комнату запахом сапожного крема. Всегда поднимается первым, а за ним все — гуськом, по цепочке. В шесть утра душ — вначале вечный ад, но в половине седьмого нам, полуистекшим потом и дремотной слизью, уже можно ждать горячую воду. Девчонки с пээма* всегда занимают очередь первыми, а за ними — кто успел. Процесс отлажен, каждая студентка с потекшим от холода носом знает свое место.

В коридорах у нас что-то среднее между моргом и свинарником: в углах тумбочки с остатками еды — бумажные обертки от бутербродов, соленые огурцы, вечный аромат яичницы, ну и, конечно, запах лука, которым мы перекусываем, бесстипендные, перед зачетами. Каждый этаж — как небольшой клан, и все завсегда так братаются друг с дружкой.

Потом же, кое-как причесавши вихры и обрядясь в плюгавенькую одежонку, надо топать на учебу.

* ПМ — факультет прикладной математики.

Преподы у нас не просто преподаватели — это люди, которые стояли у истоков отечественной космонавтики, кибернетики, баллистики. Один такой, профессор Виноградов, легенда, — еще тот сухарь, но по-настоящему ему важно, чтобы ты понимал, как все работает, а не просто сдал зачет. При нем на кафедре висит плакат: «Вопросы на лекции задавать не стесняться!» Понятное дело, никто не задает, разве что ботаны с первого ряда.

Впрочем, есть и профессор Сергеев, он будто сошел со страниц журнала «Техника — молодежи». Ретивый, худой, с козлиной бородкой, всегда держит руки в карманах и бубнит себе под нос про трансформатор Теслы, хотя это никому не интересно. На его лекциях мы иногда спим. А на семинарах Сергеев на нас орет, будто в армии, — чтоб хоть как-то растормошить.

А вот и пара по теормеху. Препод — заслуженный Коротков, человек-феномен, способный за два часа успеть прочитать двадцать страниц конспекта и рассказать про новые векторы, которых еще никто и не видел. Его философия проста: «Теория — это вам не баба, здесь мозги нужны!» Честно говоря, его цитаты потом ходят по всем курсам, превращаясь в легенды.

Но давайте-ка к делу. Выползаю я из нашего корпуса, подбоченюсь. Общага в Лефортово — отдельное государство. Каждую пятницу здесь устраивают подпольные «междусобойчики» — сборы комнат, где можно посидеть, поговорить о жизни, обсудить, какой препода круче и кто куда после выпуска подается. В одной шарашке играют в карты, в другой — спорят, кто первым пойдет уламывать фарцу на «джинсы из Югославии». Девчонки на нашем этаже варят супы и проклинают нас за бесконечный шум гитарных аккордов Лаврика-Вишеса из седьмой.

В общаге всегда найдется тот, кто сдает хозы или кто «приобщился» и взял на себя домашку троих друзей, лишь бы те «не попадались». Мы здесь как одна большая семья, каждый со своими обязанностями, устоявшимися нормами и порядками. И каждый — как одна клетка этой большой организации, которую не понимают на «материнской кафедре».

Осень золотая, пропадающая осень, мокрыми листьями тебя успокаивающая, перегноем лечащая раны, глядящая по третий день невымытым волосам гребенкой из десятиградусной дымки, что поднимается над черными зеркалами луж. Я уже ничего не жду и не хочу. До первой пары полтора часа, и теоретически можно прошагать свободных пятьдесят минут пешком до универа, но вместо этого думаю, что лучше снова макну себя в креозот «Авиамоторной», а уже на «Бауманской» сделаю крюк по Новой Басманной.

Что я и проворачиваю. Петляю среди трехэтажек, уже хочу миновать площадочку с бюстом Ленина, что застрял в клумбе с мертвеющими тюльпанами, и неожиданно вижу толпу. Негустую, человек этак семь, но и этого достаточно для обыкновенно пустой бескамерной площадочки. Я замираю и становлюсь восьмым зевакой, осторожно подходя к толпе и заглядывая поверх голов.

У бронзового Ильича вокруг шеи плотный железный обруч, от которого тянутся тонкие звенья цепи прямоком к живой, розовой от холода руке.

— Дура! — сдавленно вскрикивает какая-то женщина, комкая в руках холщовую кошелку.

Дура на вид лет двадцати двух, чуть постарше меня. Сначала обращаю внимание даже не на лицо, а на аскетически худое тело, на котором почти висит

блузка-безрукавка с легкой вязаной жилеткой цвета традиционного коврового ворса. Ноги сверху в узкой зеленой юбке, снизу черные чулки, смятые туфли. Ее вид заставляет меня поежиться и плотнее запахнуть свой плащ. Потом все ж поднимаю взгляд на лицо, делая два шага, вступаю в первый ряд. Лицо ее красиво по меркам Средневековья и картин Босха. А так страшно. Обветренное, щеки — провалы, подбородок вытянут, глазницы — тоже провалы, но куда глубже. Выдает одна лишь химзавивка, да и та рваная, русоватые волосы ветер несет, чтоб не соврать, на северо-запад.

— Да что вы стоите, милицию вызывайте!

— Я уже мужа отправила...

— Девка, блядь, сымай с Ильича эту удавку, сколько он тут стоял — нет, одной тебе помешал!

Думаю, что встревоженности в толпе больше из-за этого лишнего босховского мазка в ярком образчике соцреализма. Ожидаю слов о святотатстве и контрреволюции, однако ничего подобного не слышу. Зато понимаю, что молча пялюсь на нее в упор уже больше минуты, мы пересекаемся взглядами, и девка обращается ко мне:

— Эй, студент, сигареткой не угостишь?

Голос у нее очень хриплый, будто сигаретами питается на завтрак, обед и ужин. Тем не менее, не опуская глаз, аки собака Павлова, шарю в кармане, выстреливаю одну и, чувствуя пристальный взгляд толпы уже на себе, подхожу поближе к мертвой клумбе, передаю девке сигарету, удерживая за кончик фильтра. Кисть с браслеткой уже начала приобретать голубоватый оттенок, как и тонкие губы, настолько тонкие, что кажется, будто у девки нет рта. Папиросная скрутка белеет в очередном провале, я любезно и не до конца понимая даю

прикурить. Огонек освещает грязные радужки, мутнее, чем черная вода в асфальтовых лужах. Девка делает первую затяжку.

— Тебе ведь холодно. — Голос у самого странно сдает. — Может, отстегнешься?

— Ключи проглотила, — усмехается девка, сводя на переносице густые брови. — А на холоде, знаешь, живой себя чувствуешь.

— Но зачем... это? Ленин тебе что сделал?

Конец моего вопроса тонет в шарканье колес паркующегося «бобика». Вылезают двое — усталые, постные, тот, что помоложе, кутается в куртку.

— Вот сейчас и погреюсь, — подмигивает мне девка и, наклоняясь, шепчет в самое ухо: — Если не забздишь, приходи через пару дней к нам, объясню. Найдешь меня через Сеньку-лабуха, он метропольский. Скажи, что ищешь Элю, — поймет.

В голове сбивается комок топленого масла, немного подташнивает. Вижу, что менты заканчивают что-то выяснять у заполошно трещащей кошелки и направляются к нам. Напоследок даже не киваю, только пересекаюсь с ехидной грязнецей в ее глазах и, удерживая себя, чтоб позорно не побежать, быстрым шагом иду прочь. Менты многозначительно смотрят на меня, но кошелка неожиданно спасает, слышу:

— Да он только прикурить ей дал!

До универса добираюсь почти вслепую. Опаздываю к Виноградову на десять минут, благо лекция, конспект возьму у Натали. Мысль о судьбе этой Эли не дает покоя, в голове образы снятия с креста и что-то из Шукшина. Ильич хмурит бронзовые брови, но остается бесстрастным как с удавкой, так и без нее. Толпа наверняка рассосалась. А вот Эля... Судя по слабой какофонии,

задавленной кое-как призванным белым шумом, сопротивление она и не думала оказывать, по крайней мере, пока я не свернул с Басманной. Ругались, конечно, но все подавил белый шум.

Ругнулся и Виноградов, двумя словами. Сажу около Натали, та не смеет и слова сказать во время полупары, лишь в перерыве, когда вымаливаю конспект, спрашивает:

— Чего опоздал?

— Да девка одна на Басманной себя к бюсту Ленина пристегнула, — отвечаю как можно беспечнее. Это ведь в порядке вещей... Нет. Не в порядке.

— Зачем?

— Мне бы знать...

Переписываю волнами аккуратный почерк Натали, почти не вникая в суть. Протягиваю клеенчатую тетрадь обратно, как бы невзначай касаюсь нежного ребра ладони, дарю улыбку. Натали смущается. Она похожа на Беату Тышкевич. Мягкая медь волос, гладкий лоб и длинные ресницы. С Натали подружился в первую неделю учебы, таскались друг за дружкой в столовку на большом перерыве. Натали из Куйбышева*, живет у тетки, сразу после пар бежит к ней. Преподы Натали всегда хвалят, не делая скидку на то, что женщина. Полные конспекты, почти всегда «автоматы». Но не зубрилка. Разве зубрилка может быть похожа на Беату Тышкевич?

Сокурсники нас уже женили, и Натали, готов поклясться, это льстит. Даже когда у меня на первом курсе имелась Ксенька, Натали, постигавшая флирт, была со мной неразлучна. Но только в универе.

* В январе 1991 года переименован в Самару.

И вот «Ригонда моно» продолжает выводить «Мистического человека». Или «мужчину», кому как нравится. Я обожрался макаронами и вместо того, чтобы делать сопромат, размышляю об Ильиче, цепях и этой Эле. Это даже не Конан Дойл, это Энид Блайтон, не обсохшее на губах молоко, детская игра в детективов под лимонад в мамкином гараже и дело о краже заборной доски. Пару дней, шептала она. Занятно, какая статья запрещает приковывать себя к бюсту Ильича. Решаю, что вандализм, и Эле светит минимум пятнашка. Судя по прогнозу в Серегинной «Комсомолке», в следующие дни ударит дождь, и тащиться еще куда-то помимо универа я не собираюсь. Тем не менее Алик еще не скоро достанет «Однажды в Америке», а дело о цепях и Ильиче... Дело должно быть закрыто.

Болезненно корябает разве что упоминание «Метрополя». Последний раз сидели там с Ксенькой в этом январе, букет белых роз в хрустальной вазе, крахмал скалтерти, яйца под майонезом у меня, у нее же — черный кофе. И сама Ксенька — коротко стриженные, аккуратно уложенные волосы, черные брючки — юбки не признавала. Строгий взгляд, под которым стыдно за эти маслянистые яйца, этот жирнющий майонез, а уж об плоскую подошву говяжьего языка впору было убиться. Ксенька всегда платила сама за себя, такова была наша договоренность с самого начала отношений. Ксенька выступила инициатором, и поначалу это был единственный способ гульнуть так, как хотелось востроглазой дочке каких-то номенклатурщиков. Она не любила мои кино и дискотеки, я — ее спектакли, но тем не менее захаживали с ней в Большой и Театр сатиры, что-то мне даже нравилось, где-то откровенно спал. А Ксенька не возмущалась. До поры до времени. Я встречал ее у юридического, мы

гуляли, а потом ехали к ней на «Таганскую». В трехкомнатке с тяжелыми бордовыми обоями, бабушкином наследстве, мы самозабвенно тискались и трахались, потом пили кофе, а Ксенька ставила довоенные вальсы. Тогда мне все казалось идеальным. А потом что-то коротко оборвалось — ни взрыва, ни треска, ни вскрика.

Что-то с ее семьей, подозреваю трагедию, Ксенька не истерит, но замыкается в себе сильнее, чем прежде, отвергает расспросы и помощь. Чаще ссоримся, меня словесно линчуют за бедность духа и называют «поганой лимитой». В один из дней все рушится окончательно, несколько пьяные, сишло собачимся часа два, затем она спокойно рвет подаренные мной бусики и так же спокойно бросает их мне в лицо. Я ухожу. Полгода ненавижу и проклиная Ксеньку, москвичку — в жопе спичку, а думаю о ней ежедневно. К сентябрю отпускает, может, благостно сказалось внезапное теплое лето в родном Ленинграде и пьянки с бывшими одноклассниками. Начинаю читать переписанные от руки «Записки психопата» Ерофеева. Подтягиваюсь по теормеху. Ксенька забывается.

В «Метрополь» пойду — вытаскиваю пластинку из радиолы, решаюсь. Серега задерживается на рынке, а комната успела промерзнуть — так и не закрыл форточку во время дурных размышлений. Кончики пальцев ледяные, а лицо горит. И тем не менее я еще жив.

ГЛАВА 2

Слушаю «Смерть Арлекина» Шнитке на радиоле. Кажется символичным. Только паяц не я, а Эля. Кто в здравом уме прикует себя к бюсту Ленина? Пропустили две недели, те самые пятнадцать суток, что она ела казенный хлеб. Наверное. Поэтому Арлекин, как видно, жив, и я, вместо того чтобы смотреть с Сергеем у Алика «Однажды на Диком Западе» и любоваться простреливающей голубизной глаз Генри Фонды, погасив пластинку, еду в «Метрополь». Окольно, до «Лубянки», госужаса, в креозоте. Сеньки-лабуха, может, и нет на месте, значит, просто выпью водки на одну десятую моей стипендии. Вспомню Ксеньку, белое лицо, черную шапочку волос, яйца под майонезом. Ксеньку, пропащую и мучительно невытравимую.

Ресторан «Метрополь» — мираж, галлюцинация среди давящей московской осени. Я обрядился в лучшую пиджачную пару, как в январе, на одно из последних рандеву с Ксенькой. Пол, словно зеркало, гладкий и блестящий, отражает золото в каждом углу так, что от роскоши сразу начинает болеть голова. Даже дышать неудобно — кислород, кажется, тоже фильтруют от «простонародных примесей».

Официанты в черных костюмах — ну, они просто выученно глазекуют на тебя, сканируя, будто на твоём лице метка «Я тут случайно». С потолка свисают люстры,

похожие на венцы, плетенные из стеклянных капель. Эдакие канделябры для тех, кто в жизни и так сидит под прожекторами. Музыка — что-то мягкое, почти неуловимое, нежная французская бархатная ткань, та самая, в которой снимаются голые модельки для западных журналов. Но и она не убаюкивает, а напоминает: ты тут лишний, мальчик. Твой просроченный пиджачок, твои косые стрелки на брюках — они как красные флажки, сигнализирующие, что тебе сюда нельзя.

Рядом сидит пара мужиков в костюмах, серо-бурые лбы, волосы назад зализаны, и сигареты, конечно, «Мальборо». Они смотрят на меня с улыбкой, как на приبلудную собачку. Один из них что-то шепчет другому, оба начинают посмеиваться, а я, как ни стараюсь притворяться глухим, воспринимаю это на свой счет. Как воспринимал, сидя в этом лучшем из своих пиджаков напротив чопорной Ксеньки с ее черным кофе. Хочу провалиться сквозь чертов зеркальный пол и снова оказаться на улице, где не пахнет вычурным дымом и где никто не дышит на тебя гаванской сигарой и местечковым высокомерием.

Метрдотель хочет спровадить меня за дальний столик, но без обиняков спрашиваю: «Подскажите, где музыкант Арсений, я по знакомству его ищу». Метрдотель морщится:

— А, к Сеньке-лабуху? Так бы сразу и сказал. У него щас смена, еще три часа отполировать должен. Жди на улице.

Упрямлюсь и заказываю самой дешевой водки. Официант попадаетея поговорчивее, красноглазый и загнанный, как непристреленная лошадь.

Смотрю из угла на Сеньку, солидного, волосы ежиком, лицо полновато-благородное, в полупрофиль видны

большой рыхлый нос и такой же подбородок. В твидовом клетчатом костюмчике, играет Моцарта. «Турецкое рондо», что ли? В какой-то радиопередаче звучало.

Трачу уже одну шестую стипендии на полуштоф. Стремительно пьянею без закуски. Сенька начинает лабать джаз, мотая в такт головой. Наконец, когда уже стрелка на десятке, пианино больше не полируют, закрывают лакированную крышку. Я успел три раза сбежать покурить и два раза в сортир. Лицо покраснело. Вытираюсь накрахмаленной салфеткой, иду к Сеньке, уже ни на что не рассчитывая и жалея о просранном времени. Сенька кадрит официантку, как бы смахивая с ее накрытых фартуком сисек пылинку. Не выдерживаю.

— Привет. Есть разговор, — заглядываю ему в чуть раскосые усталые глаза.

Сенька отрывается от официантки, недоуменно шмыгает носом.

— Я от Эли, — шепчу одними губами, как фарце, с которой контактил всего два раза ради бежевых бермудов и гавайской рубахи, оказавшейся столь аляповатой, что в итоге пошла на тряпки.

В глазах Сеньки мелькает тревожная тоска. Он быстро натягивает на себя светлый плащ, долго вяжет пояс нервными пальцами, а затем манит меня на улицу. Закуриваем у парковки.

— Откуда ее знаешь? — хмуро спрашивает Сенька.

Выкладываю ему все про Ильича с железным обручем удавки. Сенька понимающе хмыкает.

— Элька может. По чесноку, она меня уже успела заебать, пардон за мой французский. Связующее, блядь, звено. Ты извини, устал после смены.

Он затягивается, выдыхает пуховую перинку дыма.

— Так проводишь меня к ней?

— Поздно, чувак, а у меня телка нетраханая. На Китай-городе они тусуют. Могу дать адрес, сам дойдешь. Ты не смотри, что поздно, у них там какая-то выставка. Черт бы побрал, с акционистами связываться...

Сенька сплевывает. Я запоминаю адрес. Недалеко от пельменной на Маросейке, где Серега хрящиком чуть не сломал себе зуб. Я киваю, желаю Сеньке удачи с телкой и иду по почти что ночному и пьяному центру Первопрестольной.

Вскоре стою в закромах, к которым почти бежал по склону, под мятой папиросной афишей, что выглядит как арт-деконструкция учебника по русской литературе. Рваный лист, блеклая печать, слова, словно обкуренные, разбегаются по бумаге: «Группа радикальных художественных практик “Иксантропия” представляет: “Чувства бронзового тела”».

Какая-то девка рядом жует жвачку, выдутью, как бесформенная американская мечта, а потом затягивается «Космосом».

— А это — це наш сквот, — брякает она, поглядывая из-под химзавитой челки желтых волос.

— А шо це значе — сквот? — спрашиваю у этой любительницы поговорить по-конотопски.

А сквот — это не дом. Это то, что получилось бы, если бы коммуналка встретила с черным рынком и произвела на свет безумного ребенка.

Раздолбанные стены, мебель, которой давно пора в музей советской нелепости, и аромат свободы — тот же, что у подмышек гитариста после трех часов концерта.

Полуподвал. Пахнет табаком, спиртом и чем-то скисшим. Желтые волосы ведут меня вдоль слабо подсвеченных голых бетонных стен с остатками плесени, где висят то листы, разрисованные вывернутыми глазами

воронов с кровавыми сосудами, то лихорадка из цветных и черно-белых линий, то прибитый стульчак унитаза, то (меня замутило сразу) распятая и вывернутая тушка ягненка или козленка с раскрашенными в бронзу смердящими кишками.

Говорю девке:

— Ты куда меня привела, цирк какой-то!

Она усмехается:

— Это не цирк, а новое искусство.

И вот, проходя по длинному коридору, вдруг я встречаю Элю, о чем-то громко вещающую команде таких же пришибленных сотоварищей. В руке у нее стакан с чем-то бурым, очень сильно двигаются морщины на открытом лбу и такие же мимические складки около рта. Худющая. Отвратительная. И при этом невыносимо притягательная. Отчего же?

Тут же подхожу к ней.

— Я — тот самый студентик. Звала же? — сразу нагло спрашиваю.

Эля отрывается от своих собеседников, смотрит на меня пристально своими грязными глазами.

— А, студент, помню тебя, помню. Освободили меня, немного совсем продержали. Ленина-то я даже не поцарапала. А они мне какой-то вандализм впаяли...

— Но это и правда был вандализм, — выпаливаю из занудства. — А у тебя тут, — не давая ей вставить слово, — что, правда выставка? С кишками, да?

— Здесь тебе не Эрмитаж, мальчик, — жестко обрывает меня Эля. — Ты хотел что-то тут выяснить. Ну так вот, мы — акционисты, мы — арт-группировка, мы ломаем искусство, срываем с него драпировку. Мы — больше не картины в золоченых рамках. Мы — это сама плоть, понимаешь?

Я киваю, хотя ничего не понимаю, кроме этих пафосных цитат.

— Ты всегда так говоришь, да?

Эля молча отходит от своих спутников и ведет меня в одну из многочисленных комнат этого сквота.

— Так и есть. Как там тебя зовут?

— Володя.

— Володя... Мне не нравится это имя. Чем занимаешься хоть?

— Я в Бауманке учусь, на оператора вычислительных машин.

— А-а-а, — отстраненно протягивает Эля, будто б это все невыносимо. — Еще чего хорошего скажешь?

— Ну, языки программирования там учу. Ассемблер, например...

— Ассемблер, — Эля пробует на вкус самое обыкновенное название. — А мне это нравится. Я так и буду тебя звать. Ты же не против?

Я уже не против ничего. У нее чудесно сокращаются эти нервные складки на лице. Эля на самом деле ужающе прекрасна — только сейчас, выкушав полуштоф водки, я это понимаю.

— Ладно, тут все ясно. Ты акционистка, как это, бросаешь пощечину общественному вкусу. Вроде так говорил Маяковский...

— Да какой сейчас Маяковский?! — фыркает Эля. — Я бы тебе могла показать настоящих деятелей — Абрамович, Бердена... Не слышал никогда о таких, ведь правда?

Опять киваю. Конечно, о таких не слышал, для меня эти имена — пустой звук.

— Я кино люблю. Серджи Леоне.

— Серджи Леоне! — презрительно повторяет Эля. — Нет ничего в нем искусственного. Так, делает всякие

пострелушки на потеху публике. А ты смотри, может быть, тоже прикоснешься к бронзовому миру. Бронза — она ведь простая, не золото и не серебро. Вот она тут. Видел же кишки в бронзовой краске?

Снова киваю.

— Превратить в монумент, в памятник, которому будет кланяться поколение, можно что угодно. В этом и наша акция. Тут еще несколько работ наших. Вот познакомься, — указывает в сторону на анемичного и хилого очкарика, — это Фил, он картины кровью рисует, — и затем на ту девку с химзавивкой, — а это Карина, она хочет придумать одежду, которая будет гореть, при этом ее саму не сжигая. Чтобы акции проводить и самой не сдыхать, понимаешь же?

Я заворожено бреду за Элей по сквоту.

— А это кто? — про парня, что сидит за столом и оживленно дискутирует. У него вялая борода, окаймляющая подбородок, рыжеватые и как будто крашенные волосы, темные глаза — это видно сразу, потому как они блестят от выпитого алкоголя. У него, вытянутолицего, закатаны рукава свитера, на сгибах локтей лиловеют вспухшие вены. «Гоняет по вене», — думаю я и выразительно смотрю на Элю.

— Это? А, это Венька Мелахберг. Он не наш, он просто тут, как бы это сказать, пришлый. — Элины грязные глаза стреляют по парню почти что убийственно. Но тот лишь выпивает очередной стакан водки. — Он такой, знаешь ли, сын богатеньких родителей, но парень неплохой. У него своя арт-группа есть, называется «Анатомическая трансцендентность».

— Как? — Я едва могу это все запомнить.

И Эля повторяет:

— Трансцендентность. Понимаю, твоему скудному уму это сейчас не объять. Но ты к нам еще приходи, а может... Может, я тебя с ним познакомлю? Ты не смотри на его руки так. Это ему галоперидол кололи, недавно из дурки вернулся.

А, думаю я, карательная психиатрия. Хотя, с другой стороны, как таких действительно не отправить в места не столь психически здоровые? И правда, в какой же дурдом я попал!

— Эй, Мелахберг, — кричит Эля, тем временем обвивая меня за пояс и вталкивая в другую комнату. — Тут новенький пришел. Все нами интересуется.

— Да не интересуюсь я, — отрицательно качаю головой. — Ты меня сама пригласила, а я вот нескудный вечерок пришел провести.

— Нескудный вечерок! — Мелахберг поднимается, почему-то немного смущенно опускает рукава свитера и пристально смотрит мне в глаза. Они темные у него, искрящиеся и совершенно пьяные. Лицо такое... Почти как у Эли, будто знает то, о чем не знаем мы, немного высокомерное.

— Тебя Володей звать? — Какой же у него потрясающий слух!

— Да, так и есть, а ты — Веня?

— Лучше зови меня Мелахбергом, — ухмыляется тот.

— Ты что, еврей? — вырывается у меня. — Нет, не подумай, — сразу добавляю. — Я сам по прадеду еврей. Геллер, может, слышал, был такой советский режиссер, «сталинский сокол».

— Конечно же слышал. Кто ж его притчу о Дмитрие Самозванце не видел! А я же... Я сионистов просто поддерживаю.

Дмитрий Самозванец... Да, было — опускаю глаза. Неловко вспоминать о своем родиче, которого никогда и не знал, который умер от голода в блокаду и оставил от себя лишь несколько претенциозных агиток, которые сейчас изучают на режиссерских факультетах. А о том, что я его правнук, знают совсем уж немногие. Род Якова Михайловича Геллера продолжили одни лишь дочери. Мой дед так и умер в двадцать семь — свалился от обморожения, пытаюсь найти потерянные карточки.

Но говорить о грустном я не хочу, а потому, совсем уж понимая, что тону в глазах этого странного Мелахберга, спрашиваю, совершенно теряясь и ощущая, как горит лицо:

— А ты тоже акционист, тоже себя к Ленину приковываешь?

Мелахберг смеется.

— Нет, мы тут с одним человечком, довольно-таки уже старым, в Подмосковье проводим «Свободные манипуляции», так они называются. Может, приедешь пообщаться?

— А может, и приеду. Только мне скажи, зачем ты в психушке лежал?

— Да от Афгана хотел закосить, — снова растягиваются губы у Мелахберга. — Ладно, я тебе тогда свой телефон дам, ты звони, я тебе сообщу, когда в следующий раз поедем.

— А что вообще это такое — ваши «манипуляции»? — интересуюсь.

— Сам увидишь. Ничего страшного и противозаконного. Нас еще никогда не вязали, в отличие вон от Эльки.

Эля хмурится от такой ремарки.

— Ты приходи, приходи, — внушает мне Мелакберг, диктуя потом телефон.

И я понимаю, что приду. Приду, чтоб забыться. От всего. А Эля снова берет меня за пояс и ведет вдоль разделанной туши и выкрашенных в бронзовый кишок.

— Ты не пугайся, посмотри. Это моя инсталляция, если что. Смотри, ужасайся, ведь страх делает нас людьми. Страх снимает с нас всю эту позолоту.

— А можно по-человечески? — спрашиваю я, не выдерживая.

— Ну, как по-человечески, тупой ты человек? Мы — акционисты, если ты с нами свяжешься, то это надолго. Я тебе все расскажу про Абрамович, про Бердена. Чтобы ты понимал, чтобы ты вынул себя из этой гнилой советской системы.

— Да я и так себя вынимаю. Я фильмы запрещенные смотрю, с фарцой контакчу...

— Этого мало. Скажи, чем еще ты можешь нам пригодиться?

— Ну, еще я на старенький свой «Зенит» иногда фотографирую, но вам это не понравится. Там одни парки, скверы, обеды наши столовские. Просто так снимаю, не знаю зачем, — признаюсь честно.

У Эли загораются грязные глаза.

— Фотограф? Это как раз то, что нам нужно. Слушай-ка, Ассемблер, мне нужен тот, кто бы смог запечатлеть мои акции. А то приковала себя к Ленину, но в истории искусств это никак не отразится. А тут ты со своим «Зенитом». Хорошо же фотографируешь? Оставь мне свой адресок, посмотрю.

Вспоминаю, как еще в Ленинграде снимал Неву — постную, холодную, осеннюю, как зачем-то снимал бездомных котов, сидящих на табуретах в пышечной

на Желябова*. И вдруг это пригодилось Эле, и вдруг я чувствую себя нужным. Поэтому киваю, поэтому потом мы пьем водку с Мелахбергом и вместе посмеиваемся над шрамами безумного Филя.

Мелахберг говорит мне:

— Ты ведь теперь наш, Володя?

И я соглашаюсь:

— Да, я ваш.

* В октябре 1991 года улице Желябова было возвращено историческое название Большая Конюшенная.

ГЛАВА 3

Ничего уже не слушаю. Окурки белыми трупиками с обгоревшими черными головками лежат на подоконнике — мой урожай за эту бессонную неделю. Уже ноябрь, и гниют листья под окрестными деревцами, ветки голые, так и норовящие уколоть тебя в глаз.

Сегодня звонила Эля — на общажный телефон. Меня позвали, и я ничуть не смущался. Назначила встречу в Сокольниках. Почему бы и нет, думаю. Серега, правда, говорит, что я ебнулся.

— Ты ебнулся, — говорит он, меланхолично стряхивая окурки в пакет из-под молока. — Мало ли что они там придумают, вдруг уже из твоих потрохов инсталляцию устроят?

— Серег, ты параноик, — бросаю я, натягивая на себя плотное пальто.

— Значит, к Алику сегодня не пойдём, — расстроено констатирует Серега.

Наша печаль с ним общая, потому как мой сосед в очередной раз рассорился со своей телкой, шипел, что у той то ли бабка из Краснодара, то ли опять нет настроения.

— Чем меньше женщину мы любим... — выдаю, пялясь на календарь, где восемьдесят восемь почти что выцвели, зато яркой остается корова, пасущаяся в каких-то поволжских лугах. Мать привезла календарь вместе

с докторской колбасой, банками кабачковой икры и своими муторными наставлениями.

До Сокольников вновь доезжаю в креозоте, выхожу, обхожу стройку, где опять навалили барханы песка, отрываю ботинки о бортик бордюра, который должен был, как истинный ленинградец, окрестить поребриком. Застегиваю пальто, слишком сильно задувает под него ветер.

Эля уже стоит у входа, в кои-то веки расчесавшись, но голову все равно не вымыла — сально липнут друг к дружке рваные пряди. Сокольники пахнут мокрой листвой и сигаретным дымом. Осень здесь — это всегда немного сюрреализм, как будто зашел внутрь обложки винилового альбома, где все выцветшее и потертое. Парк как бы специально создан для тех, кто хочет спрятаться: от родителей, учителей, милиции или просто от жизни.

Коротко здороваемся и идем вдоль центральной аллеи. Эля в черном пальто, которое больше напоминает балахон ведьмы, а на голове — кепка с дурацкой надписью *Make Love Not War*, где вторая часть выцвела настолько, что теперь это скорее просто лозунг про любовь.

Я курю «Приму», Эля — какие-то тонкие, почти игрушечные сигареты с надписью на польском. Наверное, опять на барахолке достала, как и все остальное. Дым растворяется в воздухе вместе с нашим молчанием, которое не напрягает. С Элей молчать легче, чем говорить.

— Тебя здесь никогда не били? — вдруг спрашивает она, не глядя на меня.

— Где, в Сокольниках? — отвечаю невпопад. Отвечаю, уже не удивляясь странностям ее вопросов.

— Ага. Все парки Москвы — это же зона боевых действий, в каждом кусте сидит потенциальный маньяк или хулиган. — Эля усмехается.

— Не били, — фыркаю, выбрасывая окурок в лужу. — Я тут редко бываю.

— А зря, — говорит она с новой ухмылочкой. — Здесь можно почувствовать себя героем фильма, вроде тех, что ты любишь. Знаешь, как в этих, американских, где в парке обязательно кто-то с кем-то дерется или мирится.

— Ты тогда кто? Та, что дерется, или та, что мирится?

Эля бросает на меня короткий взгляд, прищуривается, как будто приценивается.

— Я — та, что остается стоять в стороне и смеется над всеми.

Доходим до карусели, которая ржавеет, как памятник забытым праздникам. Она старая, облезлая, но все еще работает. У кассы толпятся несколько школьников, спорят, кто первым сядет на единственного целого коня. Эля оценивающе смотрит на них и тут же презрительно фыркает. Мы садимся на скамейку рядом, Эля закуривает сигарету, ее пальцы дрожат от холода, но делает вид, что ей все равно.

— Знаешь, — вдруг говорит, глядя на дальние деревья. — Я всегда мечтала устроить что-то вроде выставки в парке, прямо под открытым небом. Чтобы у каждого дерева была картина или инсталляция и чтобы прохожие не понимали — это искусство или просто чей-то мусор.

— Можем попробовать, — смеюсь я, понимая абсурд всего предложения.

Эля замолкает. У нее очень красиво, с какой-то первородной прелестью, сокращаются складки на лбу, когда она жмурится, двигаются желваки, и то, что было безобразным, становится для меня примерно картиной Босха, на которую чем больше смотришь, тем больше очаровываешься, тем больше чувствуешь что-то запретное.

— Ты где-то учишься? — спрашиваю.

Наша третья встреча, а я все еще ничего об Эле не знаю.

— Уже отучилась, сейчас в ТЮЗе подрабатываю. Не выгнали меня оттуда только чудом. Декорации рисую, петрушкам всяким костюмы шью. Бред полнейший!

Мне кажется, или Эля грустнеет.

— Ты ушла после восьмого?

— Ага, в МАХУ*. Такими занудами были наши препода, хотя порой с ними в курилке пересекались... Портвейн вытравил лучшие годы обучения.

Речь у Эли удивительно складная, хоть и со странным выговором. Как будто б действительно талантливая самородок-самоучка, или это я снова преувеличиваю.

— Понимаешь, я от мамки все свалить хотела, да мамка и откинулась, когда мне семнадцать было. Благо я уже в общагу перебралась.

Эля откровенничает, но по-прежнему ее не понимаю. Смотрю, как гниют листья в мутной серой луже.

— Откинулась в смысле с зоны?

— В смысле в гроб, — невесело усмехается Эля. — Помнишь Филя, который кровью рисует? Вот мы с ним были с одного потока. Это он меня сюда привел, правда, теперь почти не общаемся. Его однажды, как Мелакберга, чуть в дурку не упекли, когда на Арбате себя резать стал и предлагать всем желающим их портрет.

Я не отвечаю. Конечно, меня все это пугает. Конечно, я хочу любоваться голубизной глаз Генри Фонды в салоне у Алика и с упоением торговаться за югославские джинсы с фарцой.

* Московское академическое художественное училище.

— А ты? Ты что про себя расскажешь? Кроме того, что программист и кино любишь, — не без ехидцы выпытывает Эля.

Я немного говорю про себя — что родился в Ленинграде, что переехал в Москву два года назад, потому как с девятого класса грезил Бауманкой. Как проходил практику в вычислительном центре и как на нас орали наставники. Как я чуть не сломал ЭВМ.

Эля курит уже третью, кидая взгляды в мою сторону, замечаю, что ее руки уже не дрожат, как раньше, когда прикуривала, стоя прикованной к Ильичу. Чудно, но с каждым разом ее цинизм кажется все более уверенным. И я начинаю историю.

— Значит, мы с одним чуваком из кабинета решили запустить программу, типа теста для ЭВМ, ну ты понимаешь, да? — Делаю паузу, чтобы она вникла. — И я, как обычно, наивный, решил, что можно сразу запускать все на максимум, ну чтоб быстренько проверить, а что там, может, даже с результатами сразу. Так вот, запускаю, и тут — бах, черный экран. ЭВМ как будто зависла, а я такой стою как идиот, смотрю на этот экран и не понимаю, что вообще происходит. А там, знаешь, не просто зависание, а такая тишина, даже вентиляторы перестали работать. Страх был — жуть, как будто сам процессор умирает.

Эля улыбается, она поднимала голову, когда я начал, но теперь смотрит в землю, переминаясь с ноги на ногу, и я понимаю, что ее эта история затягивает.

— Черт, ты что, реально думал, что сломал эту хреновину? — Эля наконец смеется.

— Да, — отвечаю я. — Потому что если она не работает, значит — мертвая. А когда ее перегружаешь, то может дать тебе ответ. Но вот, блин, молчит, и ты стоишь

перед какой-то неприступной глухой стеной. И я прям стоял там, словно этот чертов ящик сейчас распадется на куски, а меня отправят в лагерь, за уничтожение гостайны.

Эля вновь смеется, и я продолжаю:

— А потом мне чувак, который все это увидел, говорит: «Ты что, ебанулся, что ли? ЭВМ не может просто так зависнуть. Ты что, не знаешь, как она работает?» А я ему отвечаю, что да, знаю, только ее что-то не устраивает в моих запросах. И что вообще это как бы... эксперимент. На грани смерти, понимаешь?

— А она не сломалась? — спрашивает Эля, прищуриваясь.

— Нет, не сломалась. Че-то там после пары перезагрузок заработало, но эта тишина в комнате... Это было как смерть на короткое время. И потом, когда все вернулось на место, еще пару дней сидел с ощущением, что меня сейчас точно выгонят за это зависание.

Эля кидает сигарету в лужу и вытаскивает новую. Глядя на нее, понимаю вдруг, что ей это нравится. В ее глазах мой проеб тоже как бы метафора. Словно мы все, как эти ЭВМ, зависаем иногда, а потом перезагружаемся, иногда сами, а иногда при помощи чего-то внешнего.

— Ну и как ты спас ситуацию? — выпрашивает Эля с интересом.

— Спас? Я просто еще несколько часов сидел рядом с этим ящиком, молчал и пялился в экран, ожидая, когда меня пристрелят. А потом просто начал говорить с ним. Типа: «Ну ты ж работаешь, да? Прекрати тут дурака валять».

— Ха! И она заработала, да? — Эля беззаботно хохочет, и я тоже улыбаюсь.